

Сорок дней без Булата

В слове на отпевании, в полдень 19 июня, священник Георгий Чистяков назвал Окуджаву псалмопевцем нашего века. «Его «Молитва», — сказал о. Георгий, — стала для тысяч, даже для миллионов наших современников, никогда не молившихся и вообще не знавших, что это такое, их первой заученной наизусть молитвой...»

Сравнение произвольное и убедительное. И все же, если уж искать библейские параллели, Окуджаву было бы гораздо более похоже на страстного Давида, а на умудренного горьким житейским опытом Экклезиаста. Можно привести буквальные цитаты, впрочем, скорее всего, непреднамеренные: «Всему времечко свое...», «Не мучьтесь понапрасну — всему своя пора...», «Вот-вот уж, кажется, конец — ан снова, смотришь, потепленье...»

Понятию «патриот» он предпочитал старомодное «сын Отечества», и потому в него кидали камни и «слева», и «справа»: одни за то, что он всегда говорит о своем времени жестко и трезво, другие — за то, что он не проклинает свое время, не отрекается от него.

Кое-какие из бесед с Булатом Шалвовичем я записывал. Фрагменты этих записей печатались с его согласия. В канун сороковин перечитал расшифровки магнитофонных пленок и еще раз увидел, каким сильным и мужественным был он — с виду тшедушный, в компании норовящий сесть где-нибудь в уголке, сам себя назвавший «московским муравьем».

Эти сила и мужество сильнее ностальгии проступают в его воспоминаниях о довоенном детстве.

Михаил ПОЗДНЯЕВ

С иллюзиями надо расставаться

Булат ОКУДЖАВА

Есть такое определение: «песни протеста». Вам, наверное, странным покажется, но мои первые песенки родились действительно из чувства протеста. Когда судьба навсегда разлучила меня с отцом и на долгие годы с мамой, началась у меня двенадцатилетняя полоса скитаний: жизнь у моей тети, потом война, потом учеба в Тбилисском университете, потом учительство в деревне Шамордино под Калугой... И, вернувшись наконец в Москву, я захотел написать об этом, причем именно в форме песни. Сочинил я какие-то незамысловатые песенки еще в сороковые годы, а тут вдруг пошло-поехало, одна песня за другой: про Ленку Королева, «Часовые любви», «Последний троллейбус», «Арбат, мой Арбат». На всех уллах тогда гремели бодряческие мелодии — «Москва-красавица», «Мосты над твоей рекой», всякие марши и гимны, рассчитанные на толпу. А мы собирались с друзьями узким кружком, считали раны и думали, как жить дальше. И мне захотелось поговорить с ними песней — чтобы они, мои любимые друзья, радостно закивали головами и приняли эти мои слова как наши общие сокровенные размышления, и не только о Москве, нашей Москве...

Тогда же я написал стихи, которые долго не мог напечатать:

О чем ты успел передумать,
отец растерянный мой,
когда я шагнул с гитарой,
растерянный, но живой?
Как будто шагнул я со сцены
в полнотный московский уют,
где старым арбатским ребятам
бесплатно судьбу раздают...

На Арбате прошли первые пятнадцать лет моей жизни, но, по большому счету, Арбат и двор, в котором я вырос, — действительно моя судьба, моя психология, мое воспитание и почва.

Все в этом дворе ужилось и страшно переплеталось. Неправда, что «дети Арбата» — сплошь номенклатурные сынки. Арбат моего детства — очень демократичная улица. Другое дело — что мы были типичные дети того времени и жили по официальным, а бы сказал, парадным законам общества. Мечтали бежать на гражданскую войну в Испанию, в армию собирались идти в один танковый экипаж. Долгое время предметом дворовых бесед было то, что одного из нас на Красной площади чешский коммунист взял на ру-

нах, колоритная личность. К примеру, дворник Алим, воспитанный в «Арбатском вдохновении»: он был татарский князь, к нему за советом ездили соплеменники со всей Москвы и из загорода. Когда «Арбатское вдохновение» опубликовали в «Дружбе народов», я получил письмо от внука Алима: он мне поведал о конце своего деда: его арестовали в 38-м, он сгинул в Сибири. От этой чаши многие в нашем дворе вкусили. Году в тридцать шестом над нами надстроили два этажа, и в них с шумом и весельем въезжали работники наркомата мясной и молочной промышленности. Они получили отдельные квартиры, а мы-то все жили в коммуналках, так что событие для двора было эпохальное. Справили они новоселье, отпраздновали, и стали их по ночам арестовывать. Когда их всех забрали, не стало и отдельных квартир: в них заселили новых жильцов, по несколько семей. И опять во дворе все стало равным...

Между прочим, недавно один ученый, заинтересовавшись большим числом разводов в наше время, выдвинул такую замечательную гипотезу: когда люди жили в коммуналках, «дверь в дверь», семьи сплачивались в борьбе с соседями. «Борьба», возможно, слово неточное — но суть именно такова. Я думаю, в этом парадоксе есть резон. То, что всем жилось плохо, автоматически устанавливало общие обязанности и нормы... Нет, случались и скандалы, и драки, все зависело от темперамента. Но все-таки искали простые и мудрые пути решения конфликтов. Вот висит в коридоре телефон — один на десять семей. А как платит за него — поровну, что ли? Какая-то старуха на общем собрании заявляет: «А я вообще по телефону не разговариваю!» И тогда старший по квартире вывешивает на стене рядом с телефонным лист бумаги и карандаш на ниточке. И тут уж вопрос тоже свести: поговорил по телефону — поставь против своей фамилии палочку. У кого в конце месяца больше палочек — тот больше и платит. Смешно, да? Но разумно. А что делать-то! Сейчас даже таких путей к миру люди не находят...

Из квартир это выплескивалось и во двор. Совместно сажали деревья. Устраивали какие-то соревнования по бегу и прыжкам. И в то же время воровали из кухни ресторана еду, порой и вино, закатывали пиры тут же в подъезде, потом тайное становилось явным, и всем попадало — и мне, сыну партийца, и моему товарищу Сочилу, сыну уборщицы (их семья, семь человек, жила в подвальной сырой комнатке).

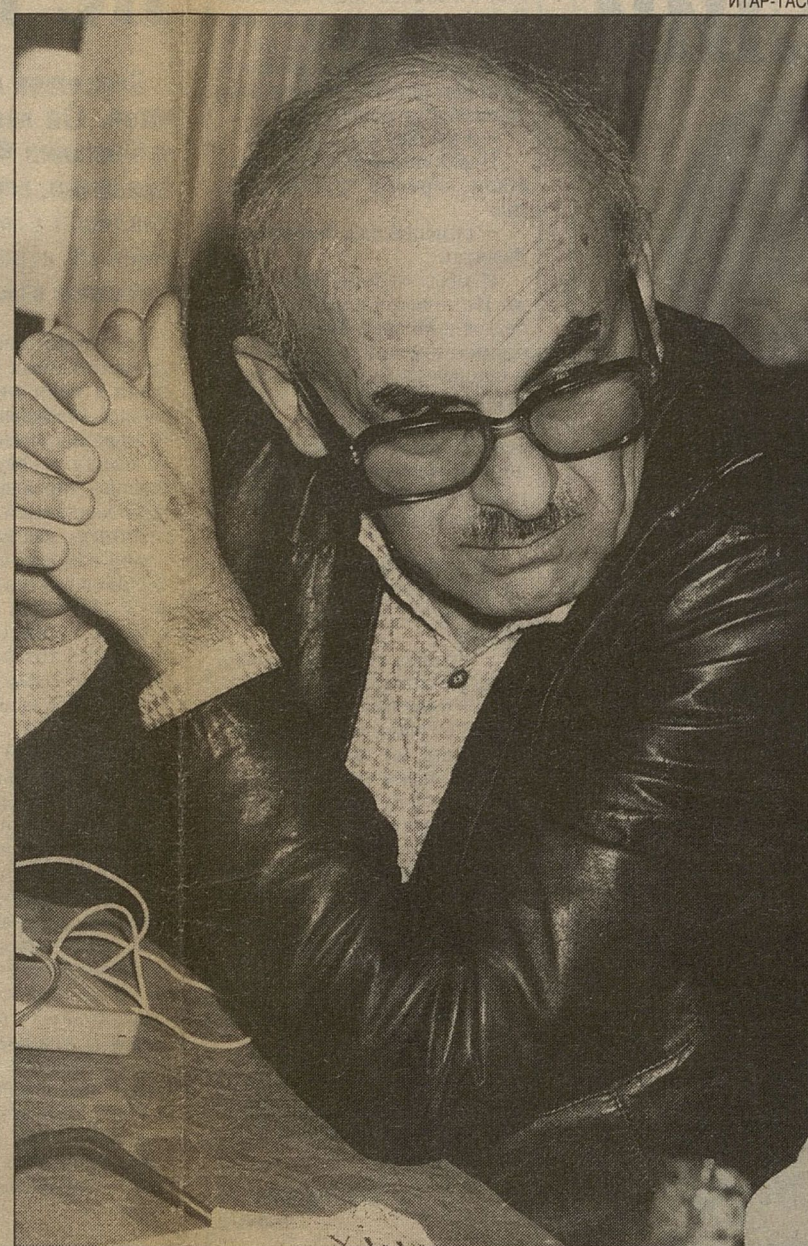
Дожились спать, наступало утро.

ской жить!..» А после концерта — домой, где пьют и матерятся... И вот я сижу в зале и вижу, что вот эти, с которыми я живу в одном дворе, и сам с ними курю и кулитаню, и знаю, что у них творится дома, — на сцене, в красных галстуках... Мне был тогда очень неприятен такой контраст. Но я постарался его поскорее от себя отогнать. Подсознательно — потому что ведь и я был точно такой, как они.

Мало, мало кто мог устоять. Среди моих знакомых был всего лишь один такой самостоятельный человек — Владимир Ермаков, с которым я подружился после ареста родителей. Что нас свело, не понимаю, думаю, так судьба распорядилась: мне нужен был в тот момент сильный друг, человек умнее и честнее меня. И он появился. Владик жил собственной, не коллективной жизнью, у него был свой круг интересов, он много читал — и такого, о чем я понятия не имел. Например, Хемингуэя. Двор он просто презирал — и все, с ним связанное. Дружба с ним я пытался совместить с соблюдением законов двора. Долго такое совмещение тянулось не могло — и тут опять судьба вмешалась: началась война. И тогда уж с меня окончательно осыпалась шелуха. Дней через пять все сошло. Выяснилось, что наше общее настроение: «Если завтра война, если завтра в поход, ура, ко всему готов, что угодно, пожалуйста!» — некрепкая закуска. Увидел кровь, увидел вшей, узнал, что такое недодеяние и недосыпание. И протрезвел. Появил энтузиазм — хорошая вещь, когда надо во дворе деревья сажать. А сажали-то не только деревья...

Меня огорчает все дилетантское и дилетантская ностальгия по старым временам. Пусть даже не по крепкой руке, а по духу времени — по воздуху, которым и я надышался, в котором перемешаны были действительно тонкие ароматы и густые мизансы. Я, как и всякий человек, с нежностью вспоминаю себя — маленького, слабого, беззаветно доверчивого. Но не знаю, разумно ли в моем возрасте, после всего, что я пережил, относиться с такой же нежностью к тем временам. Увы, такие чувства говорят скорее о каком-то смещении, сломе в душе. Проступает опасность сегодня видеть теми же детскими наивными, восторженными глазами Москву, Арбат, нашу тогдашнюю общую готовность ко всему. Такая готовность — ради чего бы то ни было — накладывает на совесть каждого человека страшную ответственность. Свобода — она все-таки дороже и прекраснее любых иллюзий. С иллюзиями надо расставаться. Даже с самыми сладкими.

У нас во дворе жил слесарь Паша.



ИТАР-ТАСС

Последняя встреча

В Италии о смерти Окуджавы не было ни строчки. Это нормально. Поездки в отлучке от прозы плохо пересекают границы. Поездки вся пронизана подтекстами и нюансами, взятыми из музыки сердца, а потому постоянному жителю лишь в том языке, на котором написана. Тем ужаснее было услышать в Москве: похоронили Булата. А мы-то с дочерью искали ему во Флоренции колокольчик... А через два дня после того, как Москва простилась с Булатом Окуджавой, в Венеции хоронили прах Иосифа Бродского. Так сошлось.

Пять лет, по вторникам, с той или иной степенью регулярности мы встречались с Булатом Шалвовичем в 20 подъезде бывшего ЦК КПСС на заседаниях Комиссии по помилованию. В огромном, совершенно номенклатурном кабинете, когда-то принадлежавшем Пуго, Окуджаву смотрелся не более странно, чем все остальные, и мало отличался от того Окуджавы, которого — считанные разы — я видела на даче или на сцене. Впрочем, меня, признаюсь, занимало, что к работе в Комиссии (вель — поэт!) он относился вполне серьезно и старался заседаний не пропускать. В этом кабинете он даже однажды пел. Когда же я прошлый раз вернулась из Италии — именно из Италии, и совершенно очарованная и странной, и этим первым своим вольным путешествием по Европе, рассказывала о том на комиссии, Окуджаву — я же, положив листочек на голубые лопки с «помилуйками» написал шутливую «Песенку Жени Альба»: «Зачем мне Ваши индальгени? / Теперь иные времена. / А каждый вечер во Флоренции / беру себе бутылку вина. / И тем вином я время скрашиваю, / бутылку употребив до дна, / индальгени не выпрашиваю! / Теперь другие времена. Б. Окуджаву. 19. 7.94».

В ту мою поездку Италия была наст...

казалось, счастливого моего романа: «Лишь были бы помысли чисты, а остальное все приложится...» Я много позже сказала о том Окуджаве, он ответил: «Я знаю». И темы не стал продолжать. Бродский пришел в студенческие годы: «Слепы идут через площадь / Слепым намного проще...», — когда самиздат и многое с ним связанное стало уже вполне серьезным и осмысленным занятием. «Я бы не советовал вам так увлекаться запрещенной литературой», — выговаривал мне парторг факультета журналистики Блажов. Песни Окуджавы мы поем с моей восьмилетней Лелькой. Она так забавно выводит: «Платает старуха, мало пожила...» Год два назад мы с ней зашли к Булату Шалвовичу — что-то ему надо было передать. Лелька рассматривала его подвешенную к потолку коллекцию колокольчиков, а когда совсем собралась уходить, вдруг пропела его песенку про голубой шарик. Окуджаву был человек очень сдержанный, даже — холодный, не умилится — погладил Лельку по головке. Лелька, когда вышла, сказала: «Я подумала, ему будет приятно услышать свою песенку...» Ребенок, она ожидала моря восторгов, а Окуджаву — Окуджаву давно уже пережил это удовольствие, когда песни его раздавались чуть ли не из каждого окна, где был магнитофон.

Окуджаву вообще не был человеком внешним — в смысле внешних проявлений. Это при том, что он занимался сценической, концертной деятельностью.

Этой весной на комиссии почему-то зашел разговор о коммунистах, я сказала Булату Шалвовичу: «Ваше знаменитое «А те, кто идут, всегда должны держаться левой стороны...» звучит сегодня совершенно по-другому». Окуджаву неожиданно энергично...

О газетах

— Булат Шалвович, вы газеты читаете?

— И в большом количестве. «Московские новости», «Общую газету», «Литературную газету», «Аргументы и факты». Иногда просматриваю газеты, вышедшие из комсомола.

— Это какие?

— «Московский комсомолец», «Комсомольскую правду», «Новая газета».

— Зачем так много?

— Я сравниваю информацию. Мне интересно. И, кроме того, мне любопытен характер каждой газеты.

— И что вы думаете об этих газетах?

— Ну, я об этих комсомольских газетах всерьез не думаю. Они, несмотря на новые времена, продолжают оставаться комсомольскими газетами по своему духу — скандальными, поверхностными. Часто использующими в серьезном разговоре помой в большом количестве. Мне это не симпатично. Это говорит либо о комплексе неполноценности, либо о желании просылать. Ну, а «Московские новости», «Общая газета», «Известия», «Литературная газета» — это газеты серьезные. Хотя тоже со своими недостатками и слабостями. Такое время.

— А вас интересует вопрос, какая газета кому принадлежит?

— В зависимости от этого и создается характер газеты, ее направленность. Мне, например, кажется, что в этом смысле «Общая газета» пока служит своим интересам. Мне так кажется.

О желтой прессе

— Булат Шалвович, по социологическим опросам показывают, что читатели, помимо местных новостей прежде всего ищут в газетах скандальную информацию. То есть в известной мере средний читатель сам нуждается газеты идти в желтину, скандальность.

— Ну, хорошо, а может быть, большинство телезрителей захотят видеть людей раздетыми? И что — надо им прислуживать и угрожать в этом смысле?

— Ну а как тогда газетам или тому же

ТВ выжить? Почему люди покупают желтую прессу? Один из самых популярных еженедельников в Москве «Мегалис-экспресс» — открывено желтая газета.

— Я не думаю, что «Литературная газета», серьезная газета, должна соревноваться с «Мегалис-экспрессом». У «Мегалиса» может быть 2 миллиона подписчиков, а у «Литературной газеты» 50 тысяч или 100 тысяч. Так и должно быть в нормальном обществе. А дураков всегда больше. Так было и будет.

— Булат Шалвович, существует ведь и другая точка зрения: люди за время перестройки так обесились политикой, что не хотят больше читать в газетах про политику. В вашем, в литературном кругу сейчас стало модным повторять: «Я не читаю газет».

— Нет, мне интересно, я гражданин этой страны, живу в ней, поэтому это меня задевает и колет, я хочу знать, я хочу быть в курсе дела. К тому же, многое зависит не только от того, о чем говорится в газете, а от того, как говорится. Тот же «Московский комсомолец» иногда поднимает очень серьезные темы. По сути все очень правильно. Но невероятная стилистика, невероятная. Конечно, если газета хочет считаться желтой прессой и это ее устраивает, то пожалуйста.

— Это может быть связано с финансовыми обстоятельствами...

— Наверное, наверное, я не пытаюсь судить... Игорь Голембиовский, главный редактор газеты «Известия», как-то сказал: газета — это теперь товар, как бутылка, и их надо уметь продавать. Когда-нибудь, когда уровень культуры покупателя газеты поднимется, его требования будут соответствовать духу газеты, и они не будут мешать друг другу. А пока у нас не...

дой. Да, нам нужна свобода и демократия, хотя мы не умеем ими пользоваться и не понимаем, что это такое. Так вот, пока мы еще не научились, может быть, стоит обуздать страсть к анархии и любовь к воле, как-то придержать все это. Иногда я начинаю об этом думать. Да, мне не хватает жесткости, строгости и власти в нужных ситуациях. Съезды фашистской партии происходят в нашей стране, и никто пальцем о палец не ударяет. Что это такое? Это называется демократия?

— Я помню, когда после октябрьских событий 93-го года были закрыты левые газеты — «Правда», «Советская Россия», то мы, журналисты либеральных изданий, писали о недопустимости этого: как только власть начинает закрывать газеты, пусть даже те, которые являются нашими противниками, она берет на себя, кому может быть предоставлена свобода слова, а кому нет. Это опасно.

— Да, наверное. Нельзя закрывать за название. Надо закрывать за проступок. За резко антисемитскую статью, например.

— Вы сказали, что вы гражданин этой страны и поэтому хотите знать, что в ней происходит. Это позиция человека гражданского общества, который полагает, что он несет ответственность за то, что власть делает в этой стране.

— В нормальном обществе это должно присутствовать обязательно. Я рад своему небезразличию к тому, что существует вокруг меня, что во мне еще есть вот это самое стремление знать, участвовать, бороться, помогать. Хотя я совершенно не настаиваю, что каждый человек должен жить по этим же правилам.

О политике и политиках

— У вас репутация человека неангажированного. Это действительно так?

— Неангажированность — да. Но определенное отношение к нашему будущему у меня есть. Я, например, категорически противник возврата к коммунистическому обществу. Не потому, что коммунизм — это отвратительно, нет, потому что я успел убедиться в том, что коммунизма быть не может в человеческом обществе. Поэтому призывающих к этому я делю на две категории: либо полных идиотов, либо заинтересованных корыстью — устроиться, получить власть. Я сторонник демократического общества.

— Есть политики, которым вы доверяете?

— Могу доверять не абсолютно, потому что идеальных людей нет. Я могу доверять их тенденциям, могу верить в честность, хотя, может быть, они и совершают ошибки, как всякие живые люди. Скажем — Анатолий Чубайс. По-моему, он один из немногих, которого нельзя поймать ни на воровстве, ни на хищениях, ни на обмане.

— Может быть, он просто ловчее других?

— Насколько мне известно, нет. Я знаю, что он человек очень образованный, очень твердый, добивающийся своей цели, и очень порядочный. Но многих раздражает то, что, например, на Западе он пользуется как специалистом очень большой популярностью. А как не раздражаться какому-нибудь ну, к примеру, Бабурину, который так ничего и не добился?

— У вас нет сомнения, что Чубайс человек честный?

— Абсолютно.

— Почему вы так в этом уверены?

— У меня есть основания для того, чтобы это говорить, я не хочу сейчас все выкладывать. У меня есть основания доверять и Чубайсу, и Гайдару, и Сергею Ковалеву.

— А вы не боитесь, что вас сейчас сразу запишут, так сказать, в число ангажированных Чубайсом?

— Ну и пусть запишут.

— Но в числе противников Чубайса очень многие шестидесятники.

— Ну и что же? А что, шестидесятник — профессия, что ли? Шестидесятник — это люди, чья общественно полезная жизнь началась в 60-е годы, вот и все. А характеры у всех разные. Повторю: все мы

С иллюзиями надо расставаться

Булат ОКУДЖАВА

Есть такое определение: «песни protesta». Вам, наверное, странным покажется, но мои первые песенки родились действительно из чувства протеста. Когда судьба навсегда разлучила меня с отцом и на долгие годы с мамой, началась у меня двадцатилетняя полоса скитаний: жизнь у моей тети, потом война, потом учеба в Тбилисском университете, потом учительство в деревне Шамордино под Калугой... И, вернувшись наконец в Москву, я захотел написать об этом, причем именно в форме песни. Сочиняя я какие-то незамысловатые песенки еще в сороковые годы, а тут вдруг пошло-поехало, одна песня за другой: про Ленку Королеву, «Часовые любви», «Последний троллейбус», «Арбат, мой Арбат». На всех улицах тогда гремели подражательские мелодии — «Москва-красавица», «мосты над твоей рекой», всякие марши и гимны, расчитанные на толпу. А мы собирались с друзьями узким кружком, считали раны и думали, как жить дальше. И мне захотелось поговорить с ними песней — чтобы они, мои любимые друзья, радостно закивали головами и приняли эти мои слова как наши общие сокровенные размышления, и не только о Москве, нашей Москве...

Тогда же я написал стихи, которые долго не мог напечатать:

*О чем ты успел передумать,
отец расстрелянный мой,
когда я шагнул с гитарой,
растерянный, но живой?
Как будто шагнул я со сцены
в полночный московский уют,
где старым арбатским ребятам
бесплатно судьбу раздают...*

На Арбате прошли первые пятнадцать лет моей жизни, но, по большому счету, Арбат и двор, в котором я вырос, — действительно моя судьба, моя психология, мое воспитание и почва.

Все в этом дворе уживалось и страшно переплеталось. Неправда, что «дети Арбата» — сплошь номенклатурные сынки. Арбат моего детства — очень демократичная улица. Другое дело — что мы были типичные дети того времени и жили по официальному, я бы сказал, парадным законам общества. Мечтали бежать на гражданскую войну в Испанию, в армию собирались идти в один танковый экипаж. Долгое время предмет дворовых бесед было то, что одного из нас на Красной площади чешский коммунист взял на руки. На счастливица смотрели, как на... слов не подберу. Ну и конечно, романтизм наш питался тем, что Арбат был улицей, по которой с а м пролетал из Кремля в Дорогомилово, на «близкую дачу», — о чем я написал в стихах «Арбатское вдохновение». И каждый подъезд, и каждая подворотня в час его выезда были забыты охраной. Окна, выходящие на Арбат, были под прищелом...

В моем детском сознании это тоже преломилось романтическим образом. Сейчас я вспоминаю об этом с отвращением.

Вот — парадная сторона. И совсем иная жизнь — во дворе.

Такое маленькое государство, замкнутое со всех сторон домами. В одном — сапожная мастерская, в другом — шляпная, в третьем — ресторанчик, потом шашлычная. Жили здесь слесари, плотники, конторские служащие. Несколько старух гувернанток, доживавших свой век после того, как господа уехали во Францию. Все друг друга знали, может быть, поэтому сегодня каждый в моей памяти — замечатель-

ная, колоритная личность. К примеру, дворник Алим, воспетый в «Арбатском вдохновении»: он был татарский князь, к нему за советом ездили сплетенники со всей Москвы и из загорода. Когда «Арбатское вдохновение» опубликовали в «Дружбе народов», я получил письмо от внука Алима, он мне поведал о конце своего дела: его арестовали в 38-м, он сгинул в Сибири. От этой чаши многие в нашем дворе вкусили. Году в тридцать шестом над нами надстроили два этажа, и в них с шумом и весельем въехали работники наркомата мясной и молочной промышленности. Они получили отдельные квартиры, а мы-то все жили в коммуналках, так что событие для двора было эпохальное. Справили они новоселье, отпразднали, отшумели — и стали их по ночам арестовывать. Когда их всех забрали, не стало и отдельных квартир: в них заселили новых жильцов, по несколько семей. И опять во дворе все стали равны...

Между прочим, недавно один ученый, заинтересовавшийся большим числом разводов в наше время, выдвинул такую замечательную гипотезу: когда люди жили в коммуналках, «дверь в дверь», семьи сплачивались в борьбе с соседями. «Борьба», возможно, слово неточное — но суть именно такова. Я думаю, в этом парадоксе есть резон. То, что всем жилось плохо, автоматически устанавливало общие обязательства и нормы... Нет, случались и скандалы, и драки, все зависело от темперамента. Но все-таки искали простые и мудрые пути решения конфликтов. Вот висит в коридоре телефон — один на десять семей. А как платить за него — поровну, что ли? Какая-то старуха на общем собрании заявляет: «А я вообще по телефону не разговариваю!..» И тогда старший по квартире вывешивает на стене рядом с телефоном лист бумаги и карандаш на ниточке. И тут уж вопрос твоей совести: поговорил по телефону — поставь против своей фамилии палочку. У кого в конце месяца больше палочек — тот больше и платит. Смешно, да? Но разумно. А что делать-то! Сейчас даже таких путей к миру люди не находят...

И из квартир это выплескивалось и во двор. Совместно сажали деревья. Устраивали какие-то соревнования по бегу и прыжкам. И в то же время воровали из кухни ресторана еду, порой и вино, закатывали пиры тут же в подъезде, потом тайное становилось явным, и всем попадало — и мне, сыну партияца, и моему товарищу Социлину, сыну уборщицы (их семья, семь человек, жила в подвальной сырой комнате).

Ложились спать, наступало утро, мы шли в школу, днем играли в испанских коммунистов, выкрикивали красивые лозунги, вечером опять что-нибудь вытворяли...

Так протекала жизнь — и мало что мог этому течению противостоять. Из взрослых-то раз-два и обчелся, а уж из детей... Самое печальное в этом было то, что мы, прекрасно видя, сколько вокруг лжи и показухи, не верили своим глазам. Меня эта показуха покорила лишь однажды. На Zubovской площади, в Клубе пишевинок, был организован «Джаз веселых поварят». И двое ребят из нашего двора как-то туда попали, в этот «Джаз...». Ну, какой там джаз: играли на пищалях, на гребешках с заправленными в них клочками папиросной бумаги. Им там, в клубе, видимо, понадобились «типажи» — они и взяли моих приятелей из нищих, голодных семей. И вот, представьте, с одной стороны — двор, с его грязью, пьянством и драками, и с другой стороны — маленькие советские повара, в белых колпачках и красных галстучках, поют: «Эх, хорошо в стране совет-

ской жити!..» А после концерта — домой, где пьют и матерятся... И вот я сижу в зале и вижу, что вот эти, с которыми я живу в одном дворе, и сам с ними курю и хулиганю, и знаю, что у них творится дома, — на сцене, в красных галстучках... Мне был тогда очень неприятен такой контраст. Но я постарался его поскорее от себя отогнать. Подсознательно — потому что ведь и я был точно такой, как они.

Мало, мало кто мог устоять. Среди моих знакомых был всего лишь один такой самостоятельный человек — Владик Ермаков, с которым я подружился после ареста родителей. Что нас свело, не понимаю, думаю, так судьба распорядилась: мне нужен был в тот момент сильный друг, человек умнее и честнее меня. И он появился. Владик жил собственной, не коллективной жизнью, у него был свой круг интересов, он много читал — и такого, о чем я понятия не имел. Например, Хемингуэя. Двор он просто презирал — и все, с ним связанное. Дружбу с ним я пытался совместить с соблюдением законов двора. Долго такое совмещение тянулось не могло — и тут опять судьба вмешалась: началась война. И тогда уж с меня окончательно осыпалась шелуха. Дней через пять все сошло. Выяснилось, что наше общее настроение: «Если завтра война, если завтра в поход, ура, ко всему мы готовы, что угодно, пожалуйста!» — некрепкая закуска. Увидел кровь, увидел швей, узнал, что такое недоодеяние и недосыпание. И протрезвел. Появил энтузиазм — хорошая вещь, когда надо во дворе деревья сажать. А сажали-то не только деревья...

Меня огорчает все дряхляя и дряхляя ностальгия по старым временам. Пусть даже не по крепкой руке, а по духу времени — по воздуху, который и я надышался, в котором перемешаны были действительно тонкие ароматы и гнусные миазмы. Я, как и всякий человек, с нежностью вспоминаю себя — маленького, слабого, беззаветно доверчивого. Но не знаю, разумно ли в моем возрасте, после всего, что я пережил, относиться с такой же нежностью к тем временам. Увы, такие чувства говорят скорее о каком-то смещении, сломе в душе. Попросту опасно сегодня видеть теми же детскими наивными, восторженными глазами Москву, Арбат, нашу тогдашнюю общую готовность ко всему. Такая готовность — ради чего бы то ни было — накладывает на совесть каждого человека страшную ответственность. Свобода — она все-таки дороже и прекраснее любых иллюзий. С иллюзиями надо расставаться. Даже с самыми сладкими.

У нас во дворе жил слесарь Паша, и у него была красивая молодая жена. Хотя я и мальчишкой был, но понимал (или это мне передавалось от друзей), что она — красавица. Красивее не бывает. Такая сильная, стройная, насмешливая. Очень часто я ее вспоминал, даже когда забыл, как ее зовут. Шли годы, Паша погиб на войне, во двор я ни разу, вернувшись в Москву, не заходил. В начале восьмидесятых финское телевидение снимало фильм обо мне, и эти финны попросили меня показать им мой двор. Я отказывался, дескать, не на что там смотреть, потом согласился, пришли мы туда, начали съемку, я что-то им рассказываю... И вдруг вижу: выходит из подъезда женщина, тучная, с толстыми большими ногами — и что-то такое знакомое в ее испитом лице... Ну р а. Та самая красавица, девушка моей мечты.

Я к ней бросился, сказал, что когда-то, до войны, и я здесь жил. Мы очень тепло с ней поговорили, повспоминали обоим прошлое.

Но меня она так и не вспомнила.



Последняя встреча

В Италии о смерти Окуджавы не было ни строчки. Это нормально. Поэзия в отличие от прозы плохо пересекает границы. Поэзия вся пронизана подтекстами и нюансами, взятыми из музыки сердца, а потому настоящему живет лишь в том языке, на котором написана. Тем ужаснее было услышать в Москве: похоронили Булату. А мы-то с дочерью искали ему во Флоренции колыбельчик... А через два дня после того, как Москва простилась с Булатом Окуджавой, в Венеции хоронили прах Иосифа Бродского. Так сошлось.

Пять лет, по вторникам, с той или иной степенью регулярности мы встречались с Булатом Шалвовичем в 20 подъезде бывшего ЦК КПСС на заседаниях Комиссии по помилованию. В огромном, совершенно номенклатурном кабинете, когда-то принадлежавшем Пугу, Окуджаву смотрелся не более странно, чем все остальные, и мало отличался от того Окуджавы, которого — считанные разы — я видела на даче или на сцене. Впрочем, меня, признаюсь, занимало, что к работе в Комиссии (ведь — поэт!) он относился вполне серьезно и старался заседаний не пропускать. В этом кабинете он даже однажды пел. Когда же я прошлый раз вернулась из Италии — именно из Италии, и совершенно очарованная и странной, и этим первым своим вольным путешествием по Европе, рассказывала о том на комиссии, Окуджаву тут же, положив листочек на голубые папки с «помиловками» написал шуточную «Песенку Жени Альбац»: «Зачем мне Ваши индустриализм?/ Теперь иные времена,/ Я каждый вечер во Флоренции/ беру себе бутылку вина./ И тем вином я время скрашиваю,/ бутылку употреблю до дна./ А индустриальный не выпариваю;/ Теперь другие времена. Б. Окуджава. 19. 7.94».

В ту мою первую Италию меня наставлял Бродский. В Венеции Бродский ездил каждый год — там и нашел себе жену — красавицу княжну Трубенку, холодная аристократичность которой заметно контрастировала с вечно растрепанным и очень демократичным Бродским. Я спросила его — очевидно жестче, чем следовало: «Вы, вероятно, хотели бы выехать в Москву на белом коне и опасаетесь, что коня — не будет?» Я не напала — записалась: в Бродском было немерено мужского обаяния, он соблазнял взглядом, словом, чуть насмешливой улыбкой. В нем было невероятное количество жизни, а оказалось — всего на полтора года. Я видела его в гробу, на похоронах, но совершенно этого не помню. Помню: руки в карманах, пуховики рубашки с трудом слезают жидкой, волосы на ветру — стоит на углу его Мортон-стрит в Гринвич-виллидж: «Ведите машину осторожно...» В Венеции Бродский всегда останавливался в одной и той же маленькой гостинице — с чудесным видом на канал. Мне ее и рекомендовал: стоила она столько, что мне о таких деньгах и подумат-то тогда было страшно.

Окуджаву был моей юностью, потом — через годы — поэтическим и музыкальным сопровождением самого бурного и самого, казалось, счастливого моего романа: «Лишь были б помysel чисты, а остальные все приложится...» Я много позже сказала о том Окуджаве, он ответил: «Я знаю». И темы не стал продолжать. Бродский пришел в студенческие годы: «Слепые идут через площадь/ Слепым намного проще...», — когда самиздат и многое с ним связанное стало уже вполне серьезным и осмысленным занятием. «Я бы не советовал вам так увлекаться запрещенной литературой», — выговаривал мне партгор факультета журналистики Блажнов. Песни Окуджавы мы поем с моей восьмилетней Лелькой. Она так забавно выводит: «Плачет старуха, мало пожила...» Гола два назад мы с ней зашли к Булату Шалвовичу — что-то ему надо было передать. Лелька рассматривала его повешенную к потолку коллекцию колокольчиков, а когда совсем собралась уходить, вдруг пропела его песенку про голубой шарик. Окуджаву был человек очень сдержанный, даже — холодный, не умиллся — погладил Лельку по головке. Лелька, когда вышла, сказала: «Я подумала, ему будет приятно услышать свою песенку...» Ребенок, она ожидала моря восторгов, а Окуджаву — Окуджаву давно уже пережил это удовольствие, когда песни его развлекали чуть ли не из каждого окна, где был магнитофон.

Окуджаву вообще не был человеком внешним — в смысле внешних проявлений. Это при том, что он занимался сценической, концертной деятельностью.

Этой весной на комиссии почему-то зашел разговор о коммунистах, а сказала Булату Шалвовичу: «Ваше знаменитое «А те, кто идут, всегда должны держаться левой стороны...» звучит сегодня совершенно по-другому». Окуджаву неожиданно энергично тему подержал: «Да-да, сегодня целый ряд своих песенок я петь не могу — например, про голубой шарик — другой контекст...» Мы очень смеялись.

За те пять лет, что я часто видела Окуджаву, Булат Шалвович все больше и больше уходил в себя. Тем удивительнее было, что он по-прежнему тем интересовался политикой — хотя и сторонился всякой публичности, читал газеты, возмущался, когда в них что-то его задевало. Спрашивал меня: «Женя, что происходит с «Известиями»? О телевизионном интервью для передачи «Газетный ряд», которую я тогда вела на НТВ, мы с Окуджавой сговорились еще зимой. Уговаривать Булату Шалвовича не надо было, он либо сразу, без ужимок, соглашался, либо говорил — нет. Попросил только подождать, когда закончит принимать лекарства: «У меня ослаблена иммунная система, и я легко могу подхватить какую-нибудь заразу». В апреле мы это интервью все же записали. Но передачу закрыли. Мне надо было бы позвонить Окуджаве, извиниться, но очень уж не хотелось входить в объяснения. Больше мы с ним не виделись. А интервью — вот оно, перед вами.

Евгения АЛЬБАЦ

помой в большем количестве, мне это не поминательно. Это говорит либо о желании неполноценности, либо о желании прослыть. Ну, а «Московские новости», «Общая газета», «Известия», «Литературная газета» — это газеты серьезные. Хотя тоже со своими недостатками и слабостями. Такое время.

— А вас интересует вопрос, какая газета кому принадлежит?

— В зависимости от этого и создается характер газеты, ее направленность. Мне, например, кажется, что в этом смысле «Общая газета» пока служит своим интересам. Мне так кажется.

О желтой прессе

— Булат Шалвович, но социологические опросы показывают, что читатели, помимо местных новостей прежде всего ищут в газетах сенсационную информацию. То есть в известной мере средний читатель сам нуждается газеты идти в желтизну, сенсационность.

— Ну, хорошо, а может быть, большинство читателей захотят видеть людей разлетыми? И что — надо им прислуживать и угождать в этом смысле?

— Ну а как тогда газетам или тому же

ТВ выжить? Почему люди покупают желтую прессу? Один из самых популярных еженедельников в Москве «Метрополис-экспресс» — открыто желтая газета.

— Я не думаю, что «Литературная газета», серьезная газета, должна соревноваться с «Метрополис-экспресс». У «Метрополиса» может быть 2 миллиона подписчиков, а у «Литературной газеты» 50 тысяч или 100 тысяч. Так и должно быть в нормальном обществе. А дураков всегда больше. Так было и будет.

— Булат Шалвович, существует ведь и другая точка зрения: люди за время перестройки так обесились политикой, что не хотят больше читать в газетах по политическим. В вашем, в литературном кругу сейчас стало модным повторять: «Я не читаю газет».

— Нет, мне интересно, я гражданин этой страны, живу в ней, поэтому это меня задевает и колет, я хочу знать, я хочу быть в курсе дела. К тому же, многое зависит не только от того, о чем говорится в газете, а от того, как говорится. Тот же «Московский комсомолец» иногда поднимает очень серьезные темы. По сути все очень правильно. Но невероятная стилистика, невероятная. Конечно, если газета хочет числиться желтой прессой и это ее устраивает, то пожалуйста.

— Это может быть связано с финансовыми обстоятельствами...

— Наверное, наверное, я не пытаюсь судить... Игорь Голембиовский, главный редактор газеты «Известия», как-то сказал: газета — это теперь товар, как ботинки, и их надо уметь продать. Когда-нибудь, когда уровень культуры покупателей газеты поднимется, его требования будут соответствовать духу газеты, и они не будут мешать друг другу. А пока у нас не рынок, а базар.

— А мне иногда кажется, что мы vstupаем в полосу без газет. Старая журналистика умерла, а новой толком еще и нет.

— В какой-то степени это же самое можно сказать и о литературе... Вероятно, надо приучать себя работать в новых обстоятельствах, не отказываясь от своих принципов.

О демократии и цензуре

— Вот вы говорите, что вы внимательный и постоянный читатель газет. Вы чувствуете, что опять у нас появилась цензура?

— Нет, я не думаю, что появилась цензура, но какие-то попытки ее ощущаются. Конечно, идеологическая и политическая цензура неуместна, но я сейчас начинаю думать о том, что художественная цензура просто необходима, чтобы окончательно не испортить вкус общества.

— А вы не боитесь, что, введя одну цензуру, введут другую?

— Но я же не предлагаю ее ввести. Понимаете, ситуация такая же, как со свобо-

дому. Надо закрывать за проступок. За резко антисистемскую статью, например.

— Вы сказали, что вы гражданин этой страны и поэтому хотите знать, что в ней происходит. Это позиция человека гражданского общества, который полагает, что он несет ответственность за то, что власть делает в этой стране.

— В нормальном человеке это должно присутствовать обязательно. Я рад своему безразличию к тому, что существует вокруг меня, что во мне еще есть вот это самое стремление знать, участвовать, бороться, помогать. Хотя я совершенно не настаиваю, что каждый человек должен жить по этим же правилам.

О политике и политиках

— У вас репутация человека неангажированного. Это действительно так?

— Неангажированность — да. Но определенное отношение к нашему будущему у меня есть. Я, например, категорически противник возврата к коммунистическому обществу. Не потому, что коммунизм — это отвратительно, нет, потому что я успел убедиться в том, что коммунизма быть не может в человеческом обществе. Поэтому призывающих к этому я делю на две категории: либо полных идиотов, либо заинтересованных корыстно — устроиться, получить власть. Я сторонник демократического общества.

— Есть политики, которым вы доверяете?

— Могу доверять не абсолютно, потому что идеальных людей нет. Я могу доверять их тенденциям, могу верить в честность, хотя, может быть, они и совершают ошибки, как всякие живые люди. Скажем — Анатолий Чубайс. По-моему, он один из немногих, которого нельзя поимать ни на воровстве, ни на хищениях, ни на обмане.

— Может быть, он просто ловчее других?

— Насколько мне известно, нет. Я знаю, что он человек очень образованный, очень твердый, добивающийся своей цели, и очень порядочный. Но многих раздражает то, что, например, на Западе он пользуется как специалист очень большой популярностью. А как не раздражаться какому-нибудь ну, к примеру, Бабурину, который так ничего и не добился?

— И у вас нет сомнения, что Чубайс человек честный?

— Абсолютно.

— Почему вы так в этом уверены?

— У меня есть основания для того, чтобы это говорить, я не хочу сейчас все выкладывать. У меня есть основания доверять и Чубайсу, и Гайдару, и Сергею Ковалеву.

— А вы не боитесь, что вас сейчас сразу запишут, так сказать, в число ангажированных Чубайсом?

— Ну и пусть запишут.

— Но в числе противников Чубайса очень многие шестидесятники.

— Ну и что же? А что, шестидесятник — профессия, что ли? Шестидесятники — это люди, чья общественно полезная жизнь началась в 60-е годы, вот и все. А характеры у всех разные. Повторю: все мы — советские люди. Советские. И ничего с этим не поделаешь. Поэтому, когда в начале перестройки кричали: это консерваторы, это демократы и делили общество на два лагеря, было смешно.

— Сейчас общество делит на тех, кто ворует, и тех немногих, кто не ворует.

— Нет, я не согласен с этим. Воровали и раньше замечательно, только мало об этом писали. Сейчас побольше немножко воруют, потому что дали волю: законов толком нет, судей нет, милиция, правоохранительные органы наполовину из жуликов состоят. Ну а что, в гражданскую войну лучше было? Знаете, самый лучший учитель — это обстоятельства — или погибнем, или выживем и будем нормальными людьми.

— Ваш прогноз — погибнем или выживем?

— Я не думаю, что погибнем, но выкарабкиваться будем очень долго и трагично. Мы всегда знали, что такое воля — делай что хочешь. Но свобода, когда нужно жить в рамках закона, — мы никогда этого не знали и не умели. Мы никогда не уважали личность. Вот пока всему этому научимся, мы ничего не сможем создать нормального.

Главный редактор номера
Николай БОДНАРУК

Ответственные секретари
Юрий ПАТРИН,
Евгений СЕМЕНОВ

Логотип:
Семен ЛЕВИН,
Борис МИРОШИН

Дизайн-макет:
Аркадий ТРОЯНКЕР

Технический редактор
Дмитрий ТУМАНОВ

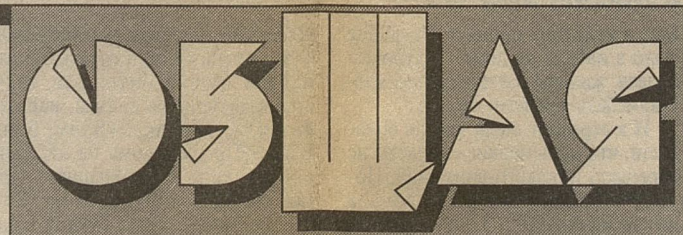
Зав. корректуры
Светлана КАРТАШЕВА

Электронная версия «ОГ» в Internet: <http://www.integrum.ru>
Подписка по телефонам: 913-53-21, 276-65-98

Газета зарегистрирована в Мининформпечати РФ 20 августа 1991 г. Регистрационный номер 1054.

© Общая газета. Перепечатка допускается по соглашению с редакцией, ссылка на «ОГ» обязательна.

Правовое обслуживание газеты осуществляет Адвокатское Бюро «Барцевский и партнеры».



ГАЗЕТА

Адрес редакции: 109240, Москва, ул. Гончарная, д. 1
Справки по телефону: 915-22-88; факс 915-51-71, e-mail: root@obgaz.msk.ru
Адрес «Гостиной «ОГ»»: 121151, Москва, Кутузовский пр., д. 22

Отдел распространения
Людмила ЛИР
Тел.: 915-53-89

Отдел рекламы
Тел.: 915-75-23,
Факс: 915-26-06

Производственно-издательский отдел
Тел.: 915-75-81

Общий тираж «ОГ» — 130 390 экз. (региональный — 65 000 экз.)

Цена свободная Розничное распространение в Московском Метрополитене — Агентство «МЕТРОПРЕСС» в С.-Петербургском Метрополитене — ООО «МЕТРОПРЕСС»

Вёрстка компьютерного центра «Общей газеты». Технический директор Валерий МАКАРОВ.

Вёрстка выполнена на оборудовании Apple Computer.

Отпечатано в типографии издательства «Пресса», 125865, ГСП, Москва-137, ул. Правды, 24.

Номер подписан в печать 16. 07. 97 г. Заказ 12847.